

КИРИЛЛ КОБРИН

«Слова» и «вещи» позднесоветского детства

Итак, я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства. Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей тоски

*(Михаил Зощенко
«Перед восходом солнца»)*

Невозможно написать о чужом детстве. Только о своем. (Впрочем, и о чужой смерти невозможно написать. Между детством и смертью есть одно важнейшее отличие: как напишешь о собственной смерти?) Поэтому нижеследующие страницы будут посвящены детству автора, который выберет для себя не позицию «философа», рефлексирующего о себе, рефлексирующем о своем детстве, а историка, легкомысленного историка, поверхностного каталогизатора той культуры, которая для него самого была родной, его сформировала и (быть может) его и угробит — позднесоветской. Речь пойдет именно о позднесоветском детстве: его интонациях, темах, табу, механизмах принуждения и способах уклонения от них. О «словах и вещах» позднесоветского детства, пользуясь названием знаменитой книги. Впрочем, Фуко, этот лучший из историков среди гегельянцев, поможет нам не только заглавием.

«Если нам бросят упрек в гегельянстве, мы охотно примем его», — пишет И. П. Смирнов в веселой книге¹, которая уже несколько лет раздражает, провоцирует (и стимулирует) меня. Что же, и мы примем. Почему бы и нет? Как остроумно заметил Тынянов (он ли?), страх смерти в России придумал Тургенев. Возможно я ошибаюсь², но «детство», как особую психо-культурную пара-

¹ С еще более развеселым заглавием «Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней». В ней бедный Пушкин мучим непреодолимым страхом кастрации, а героиня стихотворения Пастернака из загадочных соображений носит с собой ночной горшок: «... вошла со стулом».

² Сочиняя этот текст, я постоянно оговариваю себя, терзаюсь сомнениями, странными предчувствиями. Почему? Наверное, потому, что я до конца не уверен: о собственном ли детстве я собираюсь писать? Было ли то детство моим? Или — был ли это я? Что я вообще могу помнить о нем? Не приснились ли мне этой ночью: приторный вкус крем-соды, мышиный цвет школьного пиджачка, осенний запах подобранных на улице бычков, оловянная безнадёга уроков химии, шелковые розовые рубашки, подпираемые огромными грудями героинь итальянского фильма «Женщины и берсальеры»?

дигму, эпистему, особый способ соотношения «слов» и «вещей», в России придумал Сергей Аксаков. Так начинается его семейная хроника: «Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесяти годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, — кормилица, маленькая сестра и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами». Все последующие русские воспоминатели занимаются лишь стилистическими улучшениями и всевозможными конкретизациями. Константин Леонтьев уточняет географию: «С чего начать? Вы знаете, я теперь в той самой деревне...», Иван Бунин добавляет к географической справке хронологическую и генеалогическую: «Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе... О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно». Хотя конечно, «Жизнь Арсеньева», несмотря на форсированную старомодность, — книга нашего века. Бунин, которого даже в сюрреалистическом кошмаре нельзя представить с «Улиссом» в руках, невольно повторяет слова Стивена Дедалуса о «кошмаре истории», от которого хочется «проснуться»: «И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился... А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о существовании смерти не подозревал». Набоков драматизирует бунинское высказывание: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями», что не мешает ему битком набить эту «щель слабого света» всякой всячиной, прихваченной им из России, из детства: трансъевропейскими экспрессами, добрыми гувернантками, велосипедами «данлоп», барской клубничкой, легендарными девчонками из Выры и Биарицца. Эти вещи (и тысячи других) составляют экспозицию музея набоковского детства, быть может, самого богатого музея подобного рода в нашем столетии. Что же до слов, то их в этом музее нет — все прибрал к рукам лукавый естиваин, все утащил в свою альпийскую могилу.

Увы, мне не дано состязаться ни с Владимиром Владимировичем, ни даже с Сергеем Тимофеевичем. Но, будучи, по сути дела, всего лишь историком, попробую кое-что иное. Итак.

Я родился тридцать пять с лишним лет назад, в средней России, в городе Горьком, в роддоме Автозаводского района. Мне было бы очень жаль, если бы мне не сказали, когда и где именно я родился. Поэтому я счастлив своим знанием. Я знаю контекст моего детства. Поздний совок. Середина семидесятых. Пролетарский район огромного города. Где-то с конца семидесятых время остановилось здесь; почти ничего не меняется — ни марки папирос, ни марки автомобилей. Апофеоз индустриального патернализма: главная власть в районе не партийная, не советская, а заводская. Завод выпускает «Волги» и «ГАЗы», лечит, учит, калечит, убивает, хоронит, убирает улицы, сажает деревья, строит дома, воспитывает детей и взрослых. «Генеральный директор» — земной бог, «зампокадрам» цеха — аббат. На вопрос: «Где работаешь?» почти стопроцентный ответ: «На заводе». Без уточнений, на каком. Чудовищные потоки людей в шесть тридцать утра и три пятнадцать дня. Важные грузины и льстивые заслуженные артисты в поисках внеочередных «Волг». Слово «рабочий» произносится с невозможным ударением на первый слог и рас-

катиным рыком. Упоительное ничегонеделание в пыльном летнем городе. В окружающем мире тоже все без изменений. Слишком рано для цирка, слишком поздно для похода к Святой Земле. Бровастый генсек уже сочиняет свою «Малую землю». Ветеранам войны еще лет по шестьдесят, они бодр, энергичны и вдрабадан пьяны 9 мая. Свищет змеиное словосочетание «литературный власовец». Петров-Михайлов-Харламов против Маховлича-Лафлера-Робинсона. Лыбится однозубый хулиган Бобби Кларк. Страшное слово «полпот».

Я вынырываю из этого некогда вязкого, тягучего контекста, отфыркиваясь и отплеываясь. Я уже здесь — в 2000, в последнем году 20 века. Я должен рассказать о словах и вещах двадцатипятилетней давности. О, лысый Фуко, укрепи и направь!

Прежде всего, соображение теоретического характера. Соотношение «слов» и «вещей» тогда, в позднесоветском детстве, кажется мне похожим на аналогичное соотношение в барочную эпоху XVI — начала XVII века, как оно описано в «Словах и вещах». Слова не являются нейтральной «одеждой» вещей (как в эпоху классицизма), они не имеют своего происхождения и даже постигаемой истории (как в первой половине XIX века). Они существуют и столь же реальны (а иногда и более реальны), как и вещи. Так же, как и вещи, они загадочны, мистичны, обладают необъяснимой властью. Слова размещены в одном пространстве, на одном столе (как заметил бы Фуко) с вещами. Например, мой детсадовский и школьный друг Санек находился под странным воздействием слова «ливерпуль». Конечно, мы были футбольными болельщиками, но дело не в этом. Санек (как, впрочем и я) никакого «Ливерпуль Футбол Клуба» никогда в глаза не видел, но обожал его заочно, каждый понедельник закупая газету английских коммунистов «Morning Star» и пожирая на мало-знакомом языке отчеты о матчах в премьер-лиге. Следующая часть ритуала заключалась в игре в настольный футбол. Санек играл всегда за «Ливерпуль», я — по его воле — то за «Арсенал», то за «Ноттингем Форест», то за «Челси». Всех жестяных игроков как-то звали: Киган, Далглиш, Сунесс. Потом мы пили чай. Внезапно Санек вскакивал, падал на пол, начинал биться в истерике и орал: «Ливерпуль! Просперия!». Припадок заканчивался так же внезапно, как и начинался: Санек поднимался, отряхивался и, будто ничего не произошло, принимался за чай.

С другой стороны, многие вещи не имели названий, особенно те, которые были выставлены в техническом музее Автозавода — медные и латунные штучки, усеянные шестеренками, с колечками трубочек и вентиляей. Или те вещи, которые мы видели в иностранных фильмах — из блестящих коробок лились напитки, ажурные черные полоски обхватывали женские ножки, какие-то записные книжечки странным образом содержали в себе громадные суммы денег. Означающие без означающих, означающие без означаемых — все они переживались тогда в моем сознании, сталкиваясь, отскакивая, все время указывая на что-то и друг на друга; в общем, соотносясь по категориям, открытым для барочной эпохи все тем же Фуко. Это были категории «пригнанности», «соперничества», «аналогии» и «симпатии». «Пригнанность» связывала слова «выпивка и закуска» и вещи «шарф и шапка» (любопытно, что если в школе терялась шапка, то терялся и шарф, и наоборот). «Соперничество» объединяло божественные игры невидимого «Ливерпуля» и наше щелканье

настольным футболом, расстегнутое пальто ранней весной и бесшабашную удаль Черного Тюльпана. «Аналогия» заключала в себе связь между собранным металлоломом и победой вьетнамцев над страшным «сайгонским режимом», между подглядыванием за переодевающимися после физкультуры девчонками и гнусными предательствами какого-то Стаховича³. Наконец, «симпатия» намекала на глубочайшую внутреннюю связь вещей и слов; например, слово «гандон» и картина Кустодиева «Русская Венера» (перл коллекции нашего художественного музея) связывала очевидная «симпатия». Или можно вспомнить знаменитое граффити на партах: «Хуй и пизда из одного гнезда», которое, впрочем, можно отнести и к остальным категориям — «пригнанности», «соперничества», «анalogии». В общем, как писал наш проводник в мир «слов и вещей»: «Весь объем мира, все соседства пригнанности, все переключки соперничества, все сцепления аналогии поддерживаются, сохраняются и удваиваются этим пространством симпатии и антипатии, которое неустанно сближает вещи и вместе с тем удерживает их на определенном расстоянии друг от друга». Да уж, в те времена выходцев из одного гнезда умели держать на расстоянии друг от друга.

Пройдемся же по нашему реестру слов и вещей той незабвенной поры, бессистемно, фланируя и посвистывая, цепляясь вниманием за разные пустяки. Вот, например, микрокосм гастрономической и эстетической вселенной моего детства — «Три мушкетера» Дюма. Пятнадцатиминутное чтение этой книги у маленького меня вызывало буквально припадок аппетита, приходилось идти на кухню и готовить себе чай с бутербродами. Или яичницу с салом, воспетую тем же Дюма в «Королеве Марго». До сих пор картинка, изображающая легендарный завтрак на бастионе под Ла Рошелью (конечно, только из издания «Библиотеки приключений»!), является для меня наилучшим аперитивом. Лучшим художником в мире был именно автор иллюстраций в этом издании. Лучшим в мире писателем — сам Дюма; довольно долго проза, в которой нет анжуйского, аркебузов, батистовых платков, вышитых перевязей, харчевен, жареных перепелов и луидоров, оставляла меня равнодушным⁴. А вот двадцатикопеечная монета. В ней было все: и классический набор «сто грамм мороженого с сиропом плюс стакан лимонада», и сладостный, темный грех вечернего сеанса в кино «Дети до шестнадцати», и классический зачин к избиению шакалем в незнакомом районе — «Эй, пацан, дай двадцать копеек», и непостижимая географическая свобода — три копейки на трамвай до центра города, стаканчик кваса из бочки у Кремля, рогалик в «Первой булочной», три копейки на обратный трамвай. Еще шесть остается на следующий побег с Автозавода.

Кстати о географии и перемещениях. Наш огромный город был связан тогда весьма слабыми и непрочными нитями трамвая, троллейбуса, автобуса. Маршрутных такси не было и в помине. О метро и не мечтали. Из родного пролетарского гетто в центр Гурького, в Центр, где был Кремль, где в одном

³ О господине Стаховиче нам постоянно бубнила учительница изящной словесности. Надо сказать, я побаивался этого слова: «стахович», «страхович», «страх», «еврей» — все стыдное было в нем. Так я до сих пор и не знаю, что это за монстр. Видно и не узнаю никогда.

⁴ Спрошу себя: «Отчасти это справедливо и сейчас?». Не знаю, что и ответить.

магазине продавали волшебную «пепси-колу», где были какие-то упоительно звучащие «кафе», в которых выдали курящих девушек, попывающих совсем уже умопомрачительные «коктейли», где в художественном музее была нарисована настоящая голая баба, а в краеведческом можно было потрогать настоящие бронзовые пушки; так вот, в этот рай вело три пути. Первый — неспешный рижский трамвай номер 11, час езды с непрерывным глазением в окно. Второй — столь же неспешный автобус номер 1, битком набитый работягами, клерками и рыночными торговками; в нем у окна не устроишься, да еще и билет стоит вдвое против трамвайного. И, наконец, третий — автобус-экспресс номер сорок, лихой (по тем временам), битком набитый студенческой вольницей, отштампованными присказками о нерезиновом салоне и мимолетными шашнями. Время отличалось тогда медлительностью, поездка в центр приравнивалась к настоящему путешествию из Жюль Верна или Майн Рида: о них долго рассказывали одноклассникам, вспоминали, перебирали случаи, словечки, происшествия. Одиннадцатый трамвай «соперничал» с пустынными караванами в Сахаре и долгими переходами обозов венецианских купцов по Малой Азии. Сороковой автобус — с автозабегом из фильма «Большие гонки», с грубоватыми шуточками из боевиков с Бельмондо. Первого автобуса как бы и не существовало. Собственно, «пространство» равнялось тогда «времени», «время» было бескрайним, нечто вроде океана, в котором, впрочем, были течения. Над этим океаном, словно конструкции нефтедобытчиков, возвышались башни ритуалов. О двух я уже говорил: о ритуале «ливерпуль» и ритуале «квас и роголик в Центре». Но были и другие, быть может, более важные. Например, «осенний ритуал». В сентябре мы с другом Колькой принимались бродить по тихим улицам самого сердца Автозавода — кварталу, выстроенному в 30-е годы на американский, фордовский манер для первых инженеров строящегося гиганта. Двух-четырёхэтажные дома, почти нет машин, людей тоже. Тоскливый, горький запах кострищ — на каждом углу тлеют кучи опавшей листвы. Мы с другом методически навещали их и мочились на каждую. Совершив обход, мы подбирали на улицах бычки и шли курить — либо в Парк Культуры и Отдыха, великолепный, полный разнообразной сталинской скульптуры и павильончиков в гурзуфском стиле, либо в подвал колькиного дома, где уже восседал парень по имени Каргишка и напевал на мотив маккартниевского «Mrs. Vanderbilt»: «Мы всю ночь баклуши бьем. И всю ночь песни поем... Где же та красавица?». С этим ритуалом, по категории «пригнанности» соотносится такая вещь, как пачка чая, лучше индийского, «со слоном»: когда не было курева, курили его, сооружая красивейшие самокрутки, нечто вроде козых ножек.

И еще об одной из важнейших «пригнанных» вещей (как, впрочем, и «слов»). Луис Бунюэль в книге воспоминаний «Мой последний вздох» утверждает: «Алкоголь — король, никотин — королева». Что же, тогда эта истина была для нас во много раз очевидней, чем сейчас. Я не помню жанра (сорта) того напитка, который первым обратил мое сознание к высоким истинам алкоголя. Водка ли обожгла язык семилетнего мальчика, тайком допивающего из рюмки после ухода гостей? Был ли то мускат или херес, вина редкие для пролетарского города начала семидесятых? «Фетяска» или «Мурфатляр», обожаемые моей бабушкой-хохлушкой? Строгий коньяк, сухой деревянный

запах которого заставлял подтягивать живот и гордо расправлять плечи? Не помню. Помню только грустную констатацию факта, что напитков, которые я заочно обожал, пожирая «Три мушкетера», «Остров сокровищ», «Всадника без головы» и «Роб Роя», в окружающей жизни не наблюдалось: ни тебе бургундского с бордо, ни рома с каким-то ржущим «моногохельским виски». Вообще, первые, фонетические, ощущения от знакомства с советским спиртным вызывали скорее научно-технические ассоциации. Рубеж шестидесятых-семидесятых. Новосибирск, Дубна, космонавты, телевизоры. «Экстра» — слово это стояло рядом с такими чемпионами эпохи, как «Люкс», «Фотон», «Альфа» и «Бета». За ушами попевали и глаза — этикетка «Столичной» со сталинскими небоскребами сигнализировала о рабочих робах, одноруких кранах, песне «Не сталевары мы, не плотники». «Столичную» и «Экстру» окружали непременные сигареты (тоже «Столичные»): их белоснежные пачки, словно выходные кители военных моряков, украшали звезды; апофеоз современности довершали гнутые стеклянные пепельницы зеленого или голубого цвета, шаткие столики на трех ножках, «вшивые домики» густо покрашенных тетек. Живописные работяги были существами из другого мира. Они расхаживали по улицам в мохеровых кепках и красных матерчатых домашних тапочках. Они пахли железом и еще чем-то кислым. Они курили настоящие мужские папиросы «Блядомор». Наконец, они весело поглощали «Волжское красное» (известное под кличкой «Якорек») и языческий «Солнцедар». По утрам я бежал в школу мимо весельчака-соседа; скрюченный инвалид стоял у подъезда и ждал первых собутыльников, каждого проходящего он приветствовал бессмертным лозунгом: «Не теряйте время даром! Похмеляйтесь “Солнцедаром!”». От этих напитков работяги часто блевали; после выходных наш район напоминал поле битвы, с которого утащили все трупы, только частые лужи темно-красного цвета напоминали вчерашние оргии. О коньяке было известно одно: его пьют фраера.

Я дружил с сыном большого заводского начальника. В их квартире был бар, забитый треугольными, четырехугольными и плоскими бутылками. В бутылках томилась волшебные напитки; глотнув из них, ты обнимался то с благородным елизаветинским бифитером, то со смуглым вест-индийским дикарем, то с развеселым пузатым бургером. Абсолютно все западничество автора этих строк было впитано им по капле (больше мы не рисковали украсть) из этих баснословных бутылок. Их формы, то основательные, то декадентские, их этикетки, то барочно-пестрые, то конструктивистски-строгие, их неземной вкус: лако-красочный — чешских ликеров, лесной — английских джинов, самогонно-солодовый — британских виски, ярко-ягодный — финских настоек; все это, в конце концов, превратило меня в завязатого недоброжелателя евразийских бредней, блинно-бражного изоляционизма и уксусного морализаторства. Историю Европы и Америк я изучал не по учебникам.

Роясь во всей этой куче барахла двадцатипятилетней давности, я никак не могу обнаружить ничего (или почти ничего), связанного со школой. В том месте моего детства, где должна находиться школа, учителя-монстры из «Амаркорда», дразнящие воображение девушки-практикантки, школьные истории, стычки, драки, влюбленности в одноклассниц, вырванные страницы из дневника, запах мастики в коридорах и подмышек — в физкультурном зале, там —

жуткая, непроницаемо-черная дыра. Мне кажется, что ее и не было — школы; был только вечно сосущий, подлый гнет неизбежной скуки и унижения: пионерские линейки, химия с математикой, галстуки, уборка территории, мокрые носки после лыж, обреченное ожидание деда с родительского собрания. Пользуясь властью историка, я исключаю «школу», как «слово» и «вещь», из эпистемы моего позднесоветского детства.

О многом еще можно рассказать: о преобладании звуковых впечатлений над визуальными, о зверски неудобной одежде, о протестантской гастрономии (жареная картошка с колбасой, вареная — с соленой килькой), о том, как пахли раскаленные июльским солнцем телефонные будки, о нетерпеливом, до сердцебиения, ожидании свежих номеров «Футбол-Хоккея» и «Техники-молодежи». Но не буду. Гегель был неправ: количество в качество не переходит. И вообще нет никакого «качества», есть сплошное, бесконечное «количество»: один, два, три, десять, сто, тысяча... Видимо, правы аналитические философы, безразлично отщелкивающие на своих логико-философских счетах наши высказывания. К чему же тогда их плодить? Вот и наш любезный проводник по миру «слов и вещей» отстал, заплутался где-то среди чахлых тополей на Автомеханической улице, махнул рукой, сел на свой «Харлей-Дэвидсон» и умчал в философическую Валгаллу, где сидит сейчас, наверное, с Бартом и Делезом и о дискурсах с симулякрами калякает. Что ему Гекуба? Да и нам уже наплевать на все: на поздний совок, на сирое свое детство, на самих себя. Проснувшись от кошмара истории, мы обнаружили себя в следующем кошмаре. И нет в этом новом кошмаре, обдуваемом адским холодом из дырок трех нулей, того пестрого сора слов и вещей, который до сих пор иногда снится мне.